

ДУРЬ

Маша только вернулась, мы поужинали и пока я собирался, она прилегла и уснула. Не хватило смелости будить ее. Маша лежала, закинув голову на мягкий подлокотник и чуть сгорбившись. На открытое лицо сквозь занавески падали мягкие вечерние лучи; она не просыпалась. За окном ветер шевелил листья

яблони, и прозрачные тени легко двигались по ее лбу, бархатным щекам, носу и бледно-розовым губам. Нигде не видел столько простоты и природной ясности, так много правдивой нежности, как в этом лице. Я улыбнулся, попрощался с Машей про себя и по дороге на станцию никак не мог усмирить волнение в груди от сознания, что она рядом.

Вокзал кипел, гудел и грохотал. Тихий вечер был ему нипочем. Не спеша бродили хмурые грузчики, рядом отчаянно разругалась молодая пара с грудой чемоданов. В забытом углу, кучей, так что лиц не разобрать, бузили пьяницы.

Обрадовавшись пустому купе, я сел у окна, желая скорее ехать. Перед самым отправлением вошел еще пассажир, старше меня, лет пятидесяти, среднего роста, коренастый, с легкой сединой и умными глазами. Двигался он твердо и, казалось, сдержанно. Поставил вещи, взглянул коротко на меня и представился по фамилии:

– Платов.

Потом сел напротив и тоже стал смотреть в окно, тоже с нетерпением ожидая отправления.

Состав уже тронулся, как на платформе нам представилась дикая сцена без начала и конца. На кромке широкого фундамента вокзального здания стояло с десятков пивных бутылок, не убранных после чьих-то проводов. Только колеса вагона дали ход, из толпы вырвался парень, лет двадцати пяти и кинулся вдребезги бить одну за одной эти бутылки. Вокруг него все будто пропало, остался только он и стена вокзала, о которую он с тупой яростью крошил пивное стекло. Люди рядом в испуге отхлынули назад. Что вместе с бутылками в душе своей громил безумец нельзя было представить. Вагоны набирали скорость и последнее, что мы увидели, как наряд охраны бросился к нему.

Сцена тяжело подействовала на моего соседа. Он начал беспокойно оглядываться, будто кто еще находился в купе. Увидев безопасность, Платов стал неотрывно смотреть перед собой и чуть шевелить губами. Потом, приподняв густые брови, взглянул в мою сторону:

– А если б у него был пистолет?

Я не ответил, пожав плечами. Он то пытался что-то сказать, то насильно сдерживался. Потом бросил, как от безделицы:

– Вы, похоже, совсем одногодки с моим сыном.

Принесли постель и мы заказали чая. Начинало темнеть. Поезд как с полчаса вышел загород. Во всю ширь горизонта разошлась русская равнина с плоскими холмами, речками в полях, черной полосой леса на стыке неба и земли. Проплывали опустелые села. По горящим окнам и ухоженным дворам в них была видна жизнь. Платов долго смотрел в окно, и только тогда его беспокойство улеглось. Он принял задумчивый, отстраненный вид.

– Как, по-вашему, что это было на станции? – спросил он с любопытством, изучая меня.

– Даже не знаю, дурак какой-то. Напился, наверное, – смутился я от неожиданности.

– Может и напился, – протянул он. – А все-таки?

– Да я как-то не... ну, сбрендил, мало ли что... – мялся я, не зная что отвечать. – Задержали ведь. Посидит теперь, угомонится.

– Вы думаете? – встрепнулся Платов, будто только и дождался от меня такого ответа, и заговорил с напором. – Угомонится! Посидит, значит, и угомонится. Да, так все теперь говорят. А вы не представили, что он мог броситься на людей?

– Но не бросился! – мыслил холодно я.

– А если бы у него оружие?

– Да кто знает, – забеспокоился теперь я. – Если у него, как это, повреждение ума – нужно в больницу. Может, вылечат...

– Да, может, вылечат, – кивнул Платов, глядя в сторону, как примеривался как лучше сказать и, помолчав, решился. – А может... вы не заметили в этой дикости что-то страшное, что-то животрепещущее? Чего нам нельзя остановить! Не знает наука способа! И только люди, сами люди силой прекратить могут? Нет? Не отвечайте, это не важно, – оборвал вдруг он, посмотрел на меня, на минуту задумался, и совершенно, как ни в чем

не бывало, продолжил. — По этому предмету вспомнилась одна свежая история, произошедшая с моим сослуживцем. Мы приятели, я знаю дело в тонкостях.

— Пожалуйста, — легко согласился я слушать, от растерянности и не подумав отказаться. Платов еще замолчал, испытывая мою надежность, и заговорил:

— Представьте себе обычную, кроткую семью. Жена, муж моих лет, дети двое, после вузов. Работают, устраивают жизнь, все в полном, уравновешенном порядке, — Платов откинулся на спинку, весь погрузившись в память, и уже продолжал говорить спокойно, но местами, замирая в рассказе, дотошно наблюдал за моей реакцией.

— Муж, Олег Павлович, скажем, инженер. Днями на работе, по выходным удит рыбу на озере за городом и там же осенью охотится с сыном на уток. Озеро дивное, просторное. На берегу у них дачный домик, участок в десять соток. Рядом лес шумит верхушками.

Дочь Люда замуж выходит. Парень из приличной семьи. Дружат семьями, покупают молодым квартиру, ремонт делают. У дочери рождается девочка, деды не нарадуются, нянчатся, помогают молодым. Вполне себе, знаете, нормальная семья — дай бог каждому.

Проходит еще год и замечает Олег Павлович будто с Людой, дочерью, не все ладно. Замечает, как водится, через жену Катю, которая, как и положено, главное всегда сердцем чуяла заранее. Отмалчивается Людочка, грустит. По телефону голос льдом обросший. Ну, Олег Павлович думает, может возраст такой, в ребенке, может, дело — после рождения у него Саши, первенца, и в Кате тревожное ощутилось. Но и жена Катя будто присмирела, напряжена, словно натянутая струна: пошепчется с дочкой, глянет с болью, будто сказать что хочет, и смолчит все равно. Берегут вроде как его. Он пару раз сам спрашивал, но ничего не прознал. Однако ж, всякой веревочке сколько ни виться... и вот раз на его вопрос в ответ — дикость — дочь Люда с мужем Володей живут плохо. Плохо это как, спрашивает? И вал

на него: дурит зять — днем куда-то все пропадает, малыш без внимания, а главное — с женой не живут, не разговаривают совсем. А как, почему, не поймет никто... на днях напился, на Люду накричал. Два дня назад, пьяный, побил в ресторане стекла и посуды тысяч на двадцать.... Уставился Олег Павлович на жену и не поймет ничего. Как? Что? Только все было — не нарадоваться. Но собрался — ничего, говорит, разберёмся. И к дочери. Та с порога в слезы. Не узнать его, говорит. То ничего все, ничего, а то — хоть в крик. Страшно мне, папа, говорит. Не за себя, за девочку страшно. Олег Павлович рассвирепел — голова гудит, руки мелко трясутся — и зятка искать. Вечером звонят из милиции — посадили его на две недели: устроил пьяную аварию, кидался на водителя. За что получил дубиной по голове. Но и сотрясения даже нет. Нипочем все дураку! Но все ж, суд да дело.

Платов семью вечером собрал, сватов позвал. И вскрылось — было раньше. Из армии когда вернулся, дурил страшно. Тогда, правда, многие того... Насмотрелись ребята. К родителям пришел, божился, что никогда ни капли... А через год еще хлеще. На деньги залетел, когда с ребятами торговать пробовали. Сначала ничего, вроде, все пошло. Пиво фурами возили. Самый ходовой в стране товар, после хлеба. Это раньше водкой упивались, а теперь пивом. И влезает больше, и веселье дольше... На деньги попал так, что пришлось бабкин дом продавать. Запил по-черному — коммерция, знаете ли. Неудача отравляет. Ходит такой вот новоявленный и одно в голове крутит — как же вон у него... а я чем хуже? Тогда, первый раз за драку, милицией все кончилось. Сами же они и позвонили, боялись убьет кого — мужик здоровый, пудов на шесть. Снова к родителям вернулся. Они — ну как тут быть? — и простили.

Ну, думает Олег Павлович, вернется, я ему, дураку... А самому боязно как-то. Тяжесть в груди и тоска на сердце, одним словом. Да, ничего, думает, переживем... Только сыну позвонил. Решили, Саша приедет, с сестрой поговорит: разводиться — не разводиться. Пусть сама решает, как дальше.

За окном совсем стемнело, проводник включил тусклое ночное электричество, теплым светом осветившее Платова, но я видел его с необычайной четкостью, будто глаз дорисовывал в уме портрет по характеру и нерву рассказа. Тогда я заметил удивительное свойство моего соседа. В мелком движении губ, мышц щек, в стареющих глазах отражалось все его настроение, каждое движение чувств, и говорил он, будто точной картинкой видел все, о чем говорил. Я принес чая, и Платов с желанием выпил, сильно посахарив.

— Интересная ведь штука, — со стаканом в руке, он кивнул на окно. — Пустота черная, а внутри нее фонари вдалеке. Видите? Это хозяева включили свет на столбах у ворот. И двор освещен, и проходиму примета. Сейчас редко где есть такая привычка, — Платов с удовольствием допил чай, покрутил стакан в руках и, со страхом и робостью, так не подходящих этому взрослому, крепкому человеку, обернулся ко мне.

— А ведь борются! — делал он второе ударение на «ю», сводя толстые губы кольцом. — Борются каждый день, такая вот штука! За себя, за семью, чтобы жить, растить детей... хотя каждый — точно, точно каждый знает — лучше не будет при нашей жизни! И горе будет, и счастье будет — у бога всего много, старики говорили, но вот есть жизнь, сама жизнь и больше ничего у человека нет, и эта жизнь — лучшее и главное, и нет ничего лучше самой жизни.

Я с легкой неприязнью и выражением усталости посмотрел на этого впавшего в запой откровения человека, не стараясь понимать, о чем он.

— Ну как же, да, да! Вы не видите?! Вот же, все перед нами — горят фонари в сумерках за окном, и не дай бог один погаснет. Что же это будет?

— А впрочем, — ответил Платов себе. — Что это я? Давайте дальше. Гнусная, правда, гадкая история. И говорить не хочется. А не могу вот не говорить! Как бабья сплетня: говорить — низко, а не сказать нельзя. Вы не устали? Что же там было...

За дни, что Володя провел в камере, они все обсуждали

как быть. Решили везти в больницу. Не знали, что больше сделать. К нему ходили, так отказался, буйнил, трезвый даже. В ночь на пятнадцатое, как сейчас помню, позвонили, что выпускают. Олег Павлович с Сашей сразу к дочери. У Люды лицо испуганное, белое. Час ждут, второй, нет его. Поужинали чем было, с маленькой играют. Тут звонок — снова пьяная драка: завалился он к знакомому по школе, тот его, пьяного, не пускает. Стал колотить дверь, разбил окно. Милиция показалась, сбежал. Ищут, значит, по всему городу. Они туда. Все как есть. Битое стекло под ногами хрустит, дети ревут, милиция. Обозлился тогда Олег Павлович, сил нет терпеть такую нечисть, — как-то тяжело, глядя перед собой, с трудом произнес Платов. — Кровь вскипела — что же это никто с дураком поделает ничего не может? Людей вокруг мучает, а сам... хоть бы шею себе свернул! И сын в него, — мерзость, все твердит, какая же мерзость...

К дому дочери подъезжают и чувство у Олега Павловича нехорошее как будто. Поднимаются, дверь приоткрыта и Люда на полу лежит без чувств, а вокруг красное пятнами. Большие такие, наляпанные пятна, — Платов побледнел от переживания рассказа и смотрел перед собой, словно видел все это. — Хорошо есть моменты, когда слов нельзя найти... Врачей, конечно, вызвали, милицию. Да толку? Медицина, правда, успокоила — порезы неглубокие, касательные, угрозы нет. И вот ходит Олег Павлович по квартире и молчит. Туго так молчит, что, кажется, отрежь он себе палец, так ни звука не будет. Саша в больницу поехал, а он отвез внучку жене. Девочка у Люды росла, Верочкой звать.

Дома взял ружья, сам решил искать. Саша из больницы вернулся, говорит, стабильно все, опасности нет. Но не в том дело было, понимаете, не в том! И лицо у Саши темное, голос глухой, что сразу не узнать его.

И отправились они вместе. По очереди проверяли вокзал и автостанцию, остановки, магазины и кабаки; осматривались. Полгорода объездили, и молча все, как заговорщики, одними глазами переговаривались. Тут вспомнилось, дед у Володьки есть. За городом, недалеко, живет. Подъезжают туда, а в доме,

среди ночи, свет. Темень страшная — вот как сейчас, — кивнул Платов за окно. — Заходят, дед на кухне сидит, у стола, не спит. Понятное дело, думают — ни с кем с роду такой напасти не было. Только не до сочувствия им. Уходить собрались, а Саша и говорит: «Ты на кого тут дед наготовил?». Смотрят, а на плите яичница стоит, и на столе — хлеб и водка.. Дед молчит, будто воды в рот набрал. Поняли они тогда, что такое родство, что значит родной человек. Каким бы ни был, а не отдаст; тот его за тварь насекомую не считает, в лицо плюет, а нет, прятать будет, собой загородит.

Понять-то поняли, да только пошли к машине, ружья зарядили. Вернулись и давай рыскать, как дикие звери, по всем углам: комнаты, чердак, подвал. Во двор вышли, к сараю только двинулись, как навстречу, через дверь — выстрел и пьяная ругань матом. Обернулись к старику. Дед под ноги им кинулся. Нет у него патронов, твердит. Один был в ружье, а ружье в сене закопано, сам нашел. Пустите его, хрипит, милицию зовите, кого угодно. И слезы у деда на глазах. Пусть они его забирают! Тут Саша, сын, говорит: «Они его уже забирали». И прикладом старика по голове с размаху. Тот так и покатился с глухим воем...

— Олег Павлович на что лют тогда был и то вздрогнул, — погрустнев и согнувшись, прервался Платов. — Давно не видел, как бьют, а тут сын... и старика пьяного.

В сарай входят, фонарями слепят, а Володька сидит на куче хлама, руками за голову схватился и скулит под нос. А пустое ружье на полу брошено. Всё, Олег Павлович говорит, выходи, стрелять тебя будем. А сам стоит и не поймет, что сам сказал. Тогда Саша подошел и со всего маху Володьку... Тот свалился, как охапок сена. Убью, думает себе Олег Павлович, сам убью. А там, как будет.

Он, потом, сколько сам себе удивлялся: никогда не думал, как можно так просто решиться убивать человека. Наверное, говорит, на войне так. Или ты, или тебя. И никак по-другому, не выйдет.

Приехали в домик на озеро. Ночь, темнота страшная. И звезды, наверху, молчат. В машине Володька сидел тихо, а тут бро-

сился в сторону бежать. Саша легко догнал и так страшно бил ногами в лицо, как гадину какую топтал. Тот, весь израненный, на ноги еле поднялся. Какого, гудит, черта вы придумали? Увидел, верно, судьбу свою. Тогда Олег Павлович подошел и в зубы ему. Володька встал и снова: в милицию давайте. Перед законом отвечу, не перед вами. А Саша ему – ты закону зла не сделал, ты нам сделал. Тебе десятку дадут, да через пять выпустят. И гуляй, Вася. Нет, говорит Саша тяжело, едва не задыхаясь. Уж извините, слишком я паршивый христианин, чтобы отдать тебя под закон. Володька весь тут обмяк. А Олег Павлович на сына смотрит, и слова сказать не может, будто и не здесь он, и все вокруг делается само по себе.

Как заря взялась, в лес пошли. Среди темных елей и коричневых сосен, в зарослях черемухи, холод и тишина. Брошенной, заросшей дорогой брели долго, насколько сил хватило. Потом Саша лопату ему подает и ружье наставляет. Володька сжался весь, затих и копает себе тихо, только землей шуршит и палыми листьями. Тишина вокруг, дыхания слышно. Земля в чащобе тяжелая, сырая, корни. Закончил, когда совсем светло стало. Оборотился к ним Володька и говорит просто так, смиренно: вот он я, стреляйте, сволочи. Саша, потемневший лицом, ружье стариковское, из сарая, заряжает одним патроном ему протягивает и под выстрел себе Володьку ставит. Смотрит Олег Павлович страшно, омертвев.

Но не так вышло. Переменившись в миг, глянул Володька злобно, ружье к себе потянул, вроде как стреляется, и вскинул стволы, на Сашу направив. Грохнул тогда выстрел. упал Володька в яму, и возиться тихо так, без звука; только руками и ногами по земле шаркает. Саша, сын, подошел и выстрелил еще, – Платов посмотрел на меня с удивлением, как увидел в первый раз. Но тут вздрогнул и построжал.

– Зашатался Олег Павлович, не мог на Сашу смотреть. После этого никак не было сил в лицо ему глядеть. Боялся он увидеть что-то неживое. И пока яму заваливали, к домику пока возвращались и в город ехали, ни разу не посмотрел на Сашу. Сам бы я,

думает Олег Павлович, не смог. Собаку, вроде, убили, а человека все же. В Бога хоть не верую – в школе верить не учили, а потом учили не верить, и никакой Библии не читывал – не смог бы человека заставить убить себя. Сам бы убил, но вот так... Грех ведь какой! Ни одна живая тварь в природе себя не умертвит. Только человек. И то непостижимо! Но если не себя самого, а другого заставить, что же это такое будет?

И говорить не мог. Перестал чувствовать себя рядом с ним.

Утром вернулся Олег Павлович домой, а жена, Катя, с внучкой нянчится. Из больницы звонят, Люда на поправку идет. Опасности нет, сказал доктор. Да, теперь опасности нет, ответил он доктору.

А Кате ничего не сказал.

Платов замолчал, отвернувшись к окну. Поезд шел лесом, за верхушками рдел восток, но о сне я не думал.

– А как же Саша?

– Уехал в тот же день в город. И больше они не виделись.

– Как так?

– Да вот, не смог больше Олег Павлович жить как жил. Как дочь из больницы вернулась, дела закончил и уехал. Сказал, на заработки, а сам... – Платов оборвано замолчал без выражения удачно завершеного рассказа, и смотрел с видом человека внезапно и сильно проигравшегося. Мне стало вдруг неудобно в купе, словно я лишний и нужно выйти.

– Но зачем они так сделали? – усилием отвлек я себя от тяжелой догадки. – Понимаю, месть. Но не каменный же век. И дело даже не в законе. Но почему не лечить его?

– Бесплезно, – вкрадчиво, разделяя части слов, сказал Платов и посмотрел на меня, как на несмышлёныша. – А если он кого совсем убьет? Ждать преступления?

– Но почему бесплезно? – не унимался я. – Мы с вами не психиатры, не можем сами решать. Почему не дать шанс? Нужно лечить, есть методы...

Платов замотал головой, отбиваясь от моих слов. Потом сверкнул на меня глазами, но не со злостью, а досадой, что рас-

сказывал все впустую и что я не понял. Потом дернулся резко вперед, лицом к лицу, и заговорил жарко:

– Нельзя! Нет от этого спасения! Это не преступление, не дикость! Причем тут месть? Новости посмотрите – не всем так везёт! Нет от безумия разумного спасения! Это нельзя исправить придуманными законами!

Платов откинулся назад, сжался, будто решил не знаться с этими глупыми людьми, которые удивительно как еще не угробили себя и друг друга, и только все смотрел остекленевшим лицом в мутное предрассветное стекло.

Возбуждённый и огорчённый этим напором, я тоже замолчал. Ехали еще с полчаса, пока машинист не дал тормоз у незаметного полустанка. Платов вдруг засобирился, хотя, казалось, упоминал, что ему до города. Он так спешил, что я не успел с ним проститься. А может, не желал прощаться. Только вагон в толчке замер против двухэтажного желтого вокзала, Платов бегом выскочил из купе, и когда я выглянул наружу, уже спрыгивал с рюкзаком и сумкой на платформу. Я наблюдал за ним. Он замер, удивленно озираясь, будто ожидал увидеть что-то знакомое, а оказался в совсем чужом месте, но в поезд не вернулся, натянул выражение недоверчивой суровости на еще час назад полное чувств и смятений лицо, обернулся, увидел меня, ничуть не изменившись в своей новой окаменелости, и бойко зашагал по щербатым плитам. Когда состав двинулся, Платов свернул прочь от путей по еле заметной тропинке, к зарослям ивняка и черемухи, обволоченных густым туманом, за которым не было ничего видно.

Я смотрел на этого полного грусти и растерянности, непонятого мной и чужого для людей человека, и думал про фонари в ночных полях. Скоро Платов, сделавшись черной точкой вдаль, исчез в сыром тумане.

Мы проехали станцию, и открылась вольная долина. Алый диск показался над краем неба, но земля еще лежала в серой, прохладной тени. Только белёсые стволы молодых берёз, островками стоявших вдоль дороги, заиграли нежно золотым. Эта доли-

на напомнила мне женщину. Выходило солнце, и вся она пропитывалась ясностью и нежностью. Земля окутывалась первым теплом дня.

В полях просыпалось село. Белёные дома с бурными железными и серыми шиферными крышами стояли чередой по берегам выходящей речки. В тени блеснуло зеркало запруды. На бугре, среди густых верхушек, белела невысокая колокольня, и темнел старый купол. Фонари во дворах уже не горели. Из высоких труб струился легкий дым — остывшие избы протапливали по утрам. Мужики расходились по работам. Кто-то уже, до жары, вышел в поле. Другой мастерил что-то у сараев. Ребяшня собиралась в школу.

Село пролетело мимо, как случайный сон, и исчезло в утренней дымке, будто и не было. Подумалось, ему будет покойно здесь.

8–9 июня 2013, М.

ЗВЕРИНОЙ ТРОПОЙ

Выше густого ивняка, отражаясь в широкой воде, нарезал круги потревоженный ястреб. Птичий крик звучал резко, отрывисто.

Он сдернул с плеча ружье, на ощупь достал патроны. Зарядил и, глухо хрустя болотными травами, двинулся к разлитой от половодья бобровой запруде.

Неделю как сошел лед. Полевые птицы еще не начали распев, но было совсем тепло. Он щурился на солнце, сверкавшее с неба и отовсюду с земли.

Вскинул двустволку на всплески в камышах. Легко посвистывая, не страшась выстрела, перед ним набирала высоту пара крякв. Червленая мушка села под блестящего перламутровой головой селезня, провела за ним черту по белесому небу и снила. Он совсем не умел разбивать пары, стрелял лишь одиночек. Утки дали низкий от горячей апрельской любви круг у него над головой и ушли по речке, буйной стремниной убегавшей от озера.

ка по ложине. Еще недельку-другую полетают, потом она найдет себе скрытное местечко в дебрях или затопленных камышах и сделает гнездо, думал он, закинув стволы за спину.

С тихим наслаждением от весны, после слабой на морозы, чавкающей зимы, обошел причесанный половодьем берег. У статной, разлапистой ели присел отдохнуть. Трава едва наметилась. Земля холодила.

Не хотелось сюда приходиться. Но, как и каждую весну, в неделю вольной охоты, он сидел у этого черного смоленого столба и смотрел, как тот покачивал обрывками проводов на ветру, на укрытые летом крапивой и лопухами черные остатки горелого прошлогодним весенним палом частокола. Из дубовой, огнем не взятой, опоры – врастопырку рыжие гвозди. На обожжённой воротине – закрывашкой проволочное кольцо. Вспомнил, как с робостью поднимал это кольцо. Ломая крапивный сухостой, вошел на бывший двор. Навалом обломки печи, битый шифер. В заросшем саду кусты одичалой смородины. На кустах черные, как ее глаза, блестящие ягоды. В тени яблонь в жару всегда было свежо. И тогда, вместо сухого бурьяна перед ним встали длинные, до дальней верхней дороги, грядки картошки, где среди размашистых плетней белело пятно ее футболки.

Ему пятнадцать. Парит жаркий июль, они только приехали. Бабушка, трудно двигаясь, кормит птицу. Больше живности держать не по силам. Мама, в цветастом летнем халате, с крыльца звонко кличет Митю – съездить за молоком:

– В Болотовку нужно. Это за ямами, где коровники. В конце ложины, у пруда, красный дом.

У Бураковых был большой кирпичный дом (дед их еще в войну на всю деревню кирпич делал из местной глины, что у речки брали). Крыт рыже-оранжевым железом, из пристроек – выцветшая коричневая терраса. От того дом звали красным. В их Заовражье скотины не осталось (по осени соседи через два дома зарезали последнюю корову) и приходилось ездить в Болотовку.

Из сарая, где столярничал дед, Митя вывел синий, с проржав-линами, велосипед: подкачал колеса, попробовал натянутость цепи. В пыльной от опилок куртке дед работал на верстаке, показывал сорта древесины: «Галавой-та работать сам навестишься, а руками — у меня учись, пока я живой ищю». Теперь в сарае только старый верстак и опилочная пыль. Будто дед с силой вытряс куртку и ушел.

В просторном поле, на душистой траве дороге, ветер играл с волосами. Митя вслушивался, как шуршат по проселочной дороге шины, проверял, держится ли на багажнике сумка с банкой.

Бураковы встретили приветливо. На лавке дед с папиросой в зубах щурился на Митю, бабка в фартуке выглядывала с терраски. Спрашивали как бабка, как родители. Налили до краев молока, поменяли крышки. Во двор высыпала гурьба ребят. Знакомились весело, с ребяческой пружинистой силой узнавали кто такой, откуда, приглашали рубиться в футбол. Митя робко улыбался, испуганно жал руки, а из головы не выходила белизна футболки, вынырнувшая из густой зелени. Он гнал вдоль огородов к Бураковым, когда мелькнуло справа белое пятно, он повернул голову и в память впечатались угольного цвета курчавые волосы, схваченные в упругий пучок, и такие же угольные блестящие глаза.

На другое утро, после быстрого завтрака, сославшись маме на рыбалку и запрятав у речки удочку, Митя сидел в непролазных зарослях ивняка на заливаемом лугу за ее домом. Для секретности шел не по деревне, а ручьем. Сразу по пояс вымок и запыхался, радостно холодя сильной росой ноги и потев на ранней жаре. Теперь, на берегу речки прислушивался к горластым бронзовым петухам и рябам, беспокойным индюшкам с выводками. Рядом, в буйной траве сиротливо мычали телята. Толстошей гусак, усевшись на зеркало близкого залива, лениво шевелил в воде красными лапами, с подозрением косился на чужого. Митя приложил палец к губам и подмигнул важной птице.

Просидел часа два, пока не увидел ее в саду: сонно потяги-

ваясь, она говорила что-то ребятам. Печной, раскаленный жар в груди, топот бьет в уши, сдавливает дыхание. Не выдержал, вылез по кустам на другой берег, ругая затекшие ноги, полями вернулся домой и долго скрывался от мамы.

Митя сам не знал, зачем все утро просидел в кустах у ее дома. Но в футбол тем же вечером в Болотовке — на выкошенном между дворами куске луга — бился как зверь. По дороге к пруду, за лесом, куда рванули на завтра купаться всей оравой (и она, где-то сзади, на красном велосипеде, с блестящим на солнце рулем), на педали жал так, что потом дрожали и болели ноги, а сидевший на раме Витька, младше Мити года на четыре, жмурился что было мочи со страху. По вечерам с шутками и анекдотами резались в карты у огня, цедили по глотку добытый у старухи-соседки (по пятналику за чекушку) марганцовкой чищенный, пшеничный самогон. Митя, налитый необъяснимой силой, притаскивал из лощинки громадные сухие бревна ветел, ставил шалашиком, разводил жуткой высоты костры, так что, верно, и звездам в холодной пустоте становилось теплее.

Где-то здесь была терраска. Сапогом отвалил обгорелые доски сарая. Тут же где-то? Найти не смог: от дома остались одни красноватые развалины русской печи. От бревенчатой террасы, настланной толстыми, по-хозяйски, досками, с высоким крепким крыльцом, в зеленый крашенным, ничего не осталось. Сломанная пожаром печь зарастет бурьяном и никогда случайный прохожий не представит, как могло здесь в довольстве шуметь привычное к труду хозяйство. Вспомнилась песня, которую она вдруг запела в один из последних вечеров. Пела неумело, тихо. Ему нравилось. Сидели здесь, на терраске, свесив наружу ноги. Она лирично прислонила голову к косяку. Семьи разъезжались, оставляли стариков на зимовку. Он не знал, что сказать. Тогда она тихо, глядя на лунный сад, запела, и он не знал, как уйти от нее, и не знал, как сделать, чтобы песня не кончалась.

Песню вспомнил и никак не мог вспомнить ее лицо. Тогда зло дернул за проволочное кольцо, отворил невидимую ворота-

ну и вышел на мягкий от талой воды луг. Здесь будто так и замер гусиный гогот у воды, шорох кур в крапиве у забора, высокий клекот хищника, клич вспугнутой индюшки.

Остаться вместе им случилось лишь через неделю со дня его появления в Болотовке. После костра (через игру языков пламени ее лицо, смотрит мимо куда-то, молчит), печеной картошки с утянутой из бабкиного подвала склянкой, ночью, тихой тропой Митя провожал ее.

— В Москву поступать буду, — говорила она. — Еще два года и все.

— А куда? — Митя говорил мало, выравнивал голос в дрожи.

— Не знаю пока. Может, на экономический. А все говорят — на юридический надо. Дядя — декан у меня там.

Стояли у ворот, молчали, и он почему-то страшился ее больше не увидеть.

Другим вечером притащил тяжелый отцовский бинокль и, усевшись на плетень, они долго разглядывали испещренное блюдо луны. Ночи стояли в тепле, ветер стих, и казалось, на луне что-то должно вот сейчас зашевелиться и поползти по щербатым кратерам. И ее рука тронула его.

Они просидели вместе ночь, а под утро, когда за далеким лесом разгорались зарницы и, казалось, даже птицы замерли в садах, он с трепетом коснулся ее лица. Провел рукой по курчавым, жестким волосам. Она не отстранялась, смотрела блестящими лунными глазами, и ждала его.

окончание первое

Продрался заросшим садом, вышел к разбитым коровникам. Скелет колхоза плохо подходит солнечной весне. Его остов, след чужой эпохи, летом утонул в крапиве и борщевике. Недавно в этих местах еще оставались люди, коровники разбирали на кирпич; после бросили. Когда деревня умерла, первые годы приезжие грибники еще набивали тропы по старым колеям.

Теперь здесь ходят дорогой зверя. Короткий путь в бурьяне

пробила шустрая лисица, брод через полную весной речку отыскали кабаны. В излучине, под бугром, где старик Бураков брал глину на кирпич, у них грязевые ванны. Широкоголовые лоси за зиму ободрали яблони в садах, стволы длинными полосами исчерчены их острыми резцами.

Пробираешься натопанной копытами тропой через остатки дворов, заборов, мимо устало скособоченных столбов электропередачи, тонешь в бесконечных, подтопленных апрелем, лугах и болотах, вырастаешь в природу, как привитый отросток к дереву, и не кого бояться, кроме человека. Вдыхаешь лесную сырость, ветер широких полей, и так хочется брести и брести по зарослям, скрываясь в траве, шумно, зверем засопеть, одичало улавливать тонкие запахи, прислушиваться к неслышному людьми шороху мыши, чесаться о молодые дубы густой к холодам шерстью. Изредка поднимешь мохнатую голову на медленный гул, помотришь медовым глазом, как чертит белую полосу в синеве неживая птица. И кроешься, рыская, в кущах.

окончание второе

Когда он вернулся, Варешка, в расстегнутой от припека курточке, кричала во все горло, вытянув вверх озябшие кулачки:

— Папа, папа! У меня зуб вырвался!

Он торопливо скинул сапоги, куртку, убрал в машину ружье. Вытащил Сашку из-за руля, где тот жужжал вместо двигателя на весь двор. Катя махала из палисадника, где дымил на костре обед. Она была хороша в этом свитере с высоким горлом.

— Мы уже и в доме убрались и все приготовили, — она поцеловала его и посмотрела с любовной претензией. — Что бы ты без нас делал?!

Попробовал из котелка, смачно, чтобы Катя видела, с удовольствием причмокнул. Оглядел двор, убедился, что все в порядке. Взял на руки Варешку, которая тут же принялась наводить порядок в его темно-русой, густой шевелюре. Сел с ней на лавку, откуда открывался вид на речку. Варешка стала считать

пальцы и кричать что-то бабушке, которая вышла из дома. Катя рассказывала маме, что на работе все в порядке, хотя времени совсем нет, что скоро выборы и лицами заклеен весь город, что пробки жуткие, по два часа коптишь на жаре или дрыгнешь на холоде, что продукты и услуги дорожают, а зарплата как-то хитро так растет, что не увеличивается.

Он посмотрел на них, потом дальше, где изгородью шелестел на ветру седой сухостой, шумел талыми водами ручей и во весь горизонт темнел лес за полем. От ручья прорезал слух одинокий зов ястреба. Он высоко над головой поднял Варешку, потеревил игриво.

– Ничего, ничего бы я без вас не делал! Не делал бы совсем ничего!

Чмокнул ее в пухлую щечку и потащил к столу, где мама раздавала приборы, и Катя, усадив ерзающего на месте Сашку, разливала по тарелкам горячий, пахучий обед.

18 мая 2014, М.

ВЕЧЕРОМ

Восторг надрыва, ничего не говори, какая легкая голова, пустые мысли, глаза дикие, жар обладания: сладкого, счастливо-го. После любви, он проводил кончиком пальца по ее животу, выпуклостям ребер, касался теплых розовых губ. Смотрел в окно как сгущается морозный январский вечер. В неге довольства она лежала, закрыв глаза:

– Пойдем гулять? Хочу шоколадного молока.

Оделись легко и быстро, радовались неназванной игре, смеялись над собой. Он боялся упустить что-то важное в ее редких, сочных взглядах. Будто питался чувством к нему в ее глазах. Как драгоценное сокровище, за которым тянулся каждый день, как цветок тянется к рассветным лучам, страшась не заметить капли их счастья.

Вышли в раннюю зимнюю темноту. Снега было не много, но свежего, искрится семицветием. Фальшиво теплые фонари

пытались обмануть мороз. Слегка щекотало лицо и холодило ноги. Прохожих почти не было; карельскими валунами, раскиданными ледником, всюду темнели забравшиеся на тротуар машины.

— Не спит никто, — она качнула шапкой серебристого меха в сторону высоток, окружавших со всех сторон. Окна, частые как соты, горели желтым или белым электрическим светом.

— Времени нет, все смешалось, — его охватило необыкновенное чувство этого вечера. Радость восторга жизни бурлила внутри и выплескивалась наружу. — В деревне раньше как: вставай вместе с солнцем, за работу. Ложись — с закатом, потому что завтра снова подъем на рассвете. Электричества нет, керосинка или свечи, лучину жги бережливо. Летом работы невпроворот, день большой, часов в пять на покос. А то и к молитве. Весь день работает крестьянин, поспит разве часок после обеда. Ложится затемно. Зимой рабочий день короток, сон — долгий, вяленный, топи печь по три раза на день, храни тепло. Живешь, чем в лето запаса. И так тысячу лет.

— А сейчас совсем-совсем по-другому живут, — сказал он, когда прошли по внутريدворовой узкой дороге, вышли на улицу. Вкруг стоял лес домов. Было сыро, от дороги пахло солью и асфальтом, от зданий — железом и пластиком, запахи обволакивали. Его радостно трогала ее задумчивость.

— Люди жили в природе, в едином живом дыхании с ней. Теперь не зависят от нее, очень не хотят, вернее. Всюду удобства, живут отдельно, сами по себе. Поживи раньше отдельным хозяйством!

— Живут и вместе, и отдельно совсем. Те не думаешь, это.. одиноко как-то?..

— Спят мало, а времени нет. Некогда чувствовать, некогда думать. Одиночество... Жизнь удобна, зачем им Бог? Попробуй-ка в деревне без Бога! Там пустыня вокруг, жить трудно. Всегда нужно с кем поговорить, даже если Он не отвечает.

От нежности глаза ее потемнели, и он испугался, что она заплачет на морозе.

— У нас есть мы. Есть сейчас, есть вместе, — отвечала она, не глядя на него. В этом, он видел, было больше силы, это было выше его слов. — Есть смерть, есть горе, а есть как у нас сейчас, — она чуть запнулась и вдруг сказала, снова не смотря в его сторону. — Давай повенчаемся? Не сейчас — через года, через два...

Он нахмурился: никогда, даже перед свадьбой, они не говорили об этом. Любили ездить по древним холодным церквям, молчать вместе у темных икон, преклонено разглядывать резьбу по белому камню соборов, ювелирно выточенные виноградные гроздья колон, лепестки почерневших куполов; но никогда об этом не заговаривали.

— Давай?! — блеснула она глазами. Он жалобно улыбнулся ей, полный греющим чувством счастья, ничего не ответил, шел и думал о том, как же много сил потрачено на все это. Чтобы все это было.

На улице, желтой от фонарей, от миллионов горящих окон, среди бьющих в глаза вывесок магазинов и сивушным, пропахшим газами автомобилей воздухом, он удивился живым — будто у родника в вольных, бесконечных полях — свежим побегам, растающим в сердце.

По пути на квартиру молчали, шли рука в руку. Не смотрели на город, только друг на друга.

Потом, на кухне, за цветастой потертой скатертью, она пила из граненого стакана большими глотками холодное шоколадное молоко, широко кусала творожное кольцо, с усилием прожевав, высывала от удовольствия язык и, совсем ребенком, незадачливо смеялась.

7 февраля 2014г.